

# ИСТОРИЯ. ЭТНОЛОГИЯ

## КАВКАЗ В ТРУДАХ ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОРОВ XVIII ВЕКА

**В. В. Дегоев**

*Автор ставил перед собой тройную задачу. Во-первых, определить реальный информационный потенциал европейских сочинений XVIII века как источника исторических знаний о Кавказе. Во-вторых, привлечь внимание исследователей к изучению соотношения между источниковедческой и историографической ценностью этой литературы в контексте процесса зарождения научного кавказоведения. В-третьих, выявить роль приходящих политико-идеологических факторов, обусловленных геополитическими интересами западных государств и их специфическим (так сказать, ориенталистским) восприятием Востока вообще и Кавказа в частности. Авторские выводы требуют дальнейшей проверки с целью подтверждения одних идей, корректировки других и критического переосмысления третьих.*

**Ключевые слова:** научное кавказоведение, «образ другого», европейские сочинения.

*The threefold task the author had in mind implies the following. First, to assess informative value of the 18th century European sketches on the Caucasus as a source of the appropriate knowledge. Second, to redirect scholarly attention towards searching for distinct lines between murky facts and their interpretation, oftentimes arbitrary, uncritical, and even openly biased. It would help to reveal what might be called a scientific trend in Western «historiography» on the region's past. Third, to expose the role of the incoming political and ideological factors determined by geostrategic interests of the concerned States on the one hand and by its largely prejudiced, as it were, orientalist perception of the East on the other. While the author found his general approach promising he hesitates to claim that all of his conclusions are flawless. Some of them need further arguments either pro or contra to deservedly place the subject in question in a wider context of history.*

**Keywords:** scientific Caucasian studies, «image of the other», European writings.

Понятие «образ другого» прочно вошло в гуманитарный дискурс XXI в. Его используют с разными целями, в том числе не имеющими к науке никакого отношения. Да и в научных работах беспорядочное и порой совершенно неуместное употребление термина с изрядным добавлением политико-идеологических оттенков начинает вызывать идиосинкразию.

Хотя в настоящей статье анализируется ничто иное как источники формирования «образа другого», мы всячески

старались избегать праздного манипулирования этим термином. «Другим» в данном случае является Кавказ и его жители, а субъектом восприятия — европейцы XVIII в. Это — многогранная и весьма неоднозначная тема. Она не сводится лишь к фактам (преимущественно этнографического плана), собранным иностранными наблюдателями. Разумеется, без этого ценного сырья никак не обойтись. Но когда оно уже добыто, главным становится выяснение по крайней мере двух вещей: как

толкует (если он это делает) полученную информацию непосредственный свидетель и как проверяют это толкование позднейшие исследователи, на предмет установления степени его достоверности и «объективности».

Однако подчас для нас куда важнее явная или замаскированная предвзятость европейского автора, особенно когда она обусловлена не столько его принадлежностью к другой цивилизации, сколько политическими и идеологическими причинами.

Дело в том, что в глазах Европы XVIII в. Кавказ уже не просто историко-экзотическая тема, а объект геополитического интереса, коль скоро именно в таком качестве он фигурирует в «восточных» планах Российской империи, расширение которой вызывает у западных государств растущую тревогу. С течением времени эта тревога проникает в труды иностранных писателей. Она чувствуется даже там, где речь идет о таких, казалось бы, сугубо познавательных и достойных любопытства сюжетах, как кавказские нравы, обычаи, верования, предметы обихода, торговля и т.д.

Это совсем не означает, что записки европейских авторов лишены научного значения. Они являются органичной частью громадного корпуса письменных источников о Кавказе. Без них сегодня не могут обойтись ни историки, ни этнологи.

Мы рассматриваем эти памятники, прежде всего, в рамках процесса формирования исторических знаний о Кавказе, процесса, который создавал предпосылки для возникновения полноценной кавказоведческой науки. При этом не оставлена без внимания глубокая, не всегда видимая политико-идеологическая подоплека ряда европейских сочинений.

\*\*\*

У нас нет никакого сожаления по поводу необходимости анализировать в том числе и компилятивные труды, ибо по глубине осмысления материала они зачастую превосходят записки непосредственных наблюдателей кавказских реалий.

С одной из таких компиляций мы и начнем.

Называется она «Северная и Восточная Тартария или сжатый очерк нескольких стран и народов...» [1, 86-98] Это неоднократно переиздававшееся произведение принадлежит перу Николаса Витсена (1641-1717 гг.) голландского дипломата и государственного деятеля, высокообразованного человека своего времени. Большую часть жизни автор был связан с Россией, где он побывал в 1664-1665 гг. в составе голландского посольства и с тех пор испытывал к этой стране и к Петру I неодолимый интерес. Во время пребывания Великого посольства в Голландии он почти неотлучно находился при русском царе.

Труд Витсена соединял в себе записки путешественника (в той части, что касались Москвы, где он жил некоторое время) и порой весьма достойную претензию на научно-географическое и научно-этнографическое сочинение, с учетом тогдашнего методологического уровня познания стран и народов. Материалы о Северном Кавказе, где Витсен не был, собирались в Москве и в Европе. Они в той или иной степени подвергались обработке, дополнялись авторским мнением и соединялись в единый текст. Автор не скрывает своих источников. Да у него бы и не получилось, ибо заимствования у Адама Олеария [2] и Жан-Батиста Тавернье [3] видны невооруженным глазом<sup>1</sup>.

Произведение Витсена имело огромное просветительское значение. Одна-

ко оно больше, чем простой пересказ чужих сведений. Как, быть может, ни странно, в этнической карте Северного Кавказа и в некоторых других подробностях автор разобрался лучше своих предшественников и современников, хотя у него тоже встречаются неточности, ошибки, путаница.

Не будем подробно повторять то, что у Витсена пусть и хорошо описано, но вторично. Коснемся лишь сделанных им толковых этногеографических уточнений, лишний раз свидетельствующих, что человеку с научным, исследовательским складом ума не обязательно лицедреть явление воочию, чтобы разглядеть его суть. В отличие от своих иностранных коллег, путавшихся в этнонимах, Витсен не только четко отделил «татар» от «черкесов», но и подчеркнул: «черкесов много разных племен» [1, 93], живут они в разных местах, иногда далеко друг от друга, и между ними есть различия. Правда, иногда автор тоже не может избавиться от употребления слова «черкесы» в собирательном смысле.

Стоит остановиться на ряде акцентов, которые Витсен расставил в заимствованной им информации.

Население Северо-Восточного Кавказа Витсен представляет как «свободный», общинный, в основном языческий мир без «письменности» и «писаных законов». Каждая его ячейка находится под управлением родовых старейшин. Суть этого управления — надзор над соблюдением вековых патриархальных норм, обрядовых, семейных, общественных. Они довольно строги в вопросе о том, что могут и что не могут позволить себе люди в своем собственном селении. И совершенно либеральны, даже поощрительны в отношении их поведения вне его. Поэтому привычка к грабительским набегам и воровству у соседей — повсеместное

явление, «врожденное свойство этого народа». При этом «войну с другими странами» они ведут редко [1, 89].

Считая необходимым подчеркнуть, что общество ревностно охраняет свои вековые устои, Витсен приводит любопытный факт. Когда появляются люди, пытающиеся взять власть над односельчанами в свои руки, их уничтожают и выбирают вождей, которые готовы «жить в полном согласии с общиной» [1, 91].

Затруднения европейских авторов в определении религиозной принадлежности черкесов Витсен объясняет тем, что одни черкесы были язычниками, другие тяготели к греко-православному вероисповеданию. Попутно заметим: о «подвигах» католических миссионеров нет ни слова.

Сведения об этнополитической обстановке на Северо-Восточном Кавказе Витсен, видимо, собирал в Москве у чиновников, ведавших южнороссийскими делами. Его рассказ об этом в чем-то даже полнее, чем у Адама Олеария, находившегося вроде бы в центре событий. В частности, читатель впервые сталкивается с важным уточнением. Теркские слободы, которыми управляли «черкесские» (кабардинские) князья из рода Темрюка Идаровича, тестя Ивана Грозного, были населены «охоцкими» и «кабардинскими» племенами. Здесь самое главное, что никогда и никто из иностранцев доселе не упоминал (за невозможностью разобраться в этом этническом калейдоскопе) об «охоцких» жителях слобод, то есть — о чеченцах. Странно, что это делает не тот, кто вращался среди чеченцев, не зная, кто они такие, а голландец, живший за тридевять земель от них.

Не ускользнул от внимания Витсена «сценарий» прихода к власти над слободами, находившимися в принципе под

верховой властью русского царя, последнего князя Касбулата Мусаловича, «очень жадного относительно земли, как и весь его народ». Жажда власти и земли заставила его собственноручно убить двух своих родных братьев, потенциальных претендентов на статус слободского князя, чтобы лишить Москву выбора.

Слободы в определенном смысле являлись маленькими княжествами (или ленными владениями, как их определял Олеарий). Этот статус, по идее, предполагал более высокую, по сравнению с родоплеменной демократией, социально-политическую организацию общества. Но этой разницы мы не видим, если верить Витсену: «*подданные (князя. — В. Д.) живут как свободные граждане* (подчеркнуто мною. — В. Д.), хорошо одеваются, украшают стены своих домов коврами, луками, стрелами и т.п.» [1, 95].

В Москве Витсен имел возможность собрать достоверные данные, подтверждающие наблюдения Олеария о тесном административно-политическом сотрудничестве между русским воеводой в Терках и «черкесскими князьями», по доверенности управлявшими кабардинскими, чеченскими и другими пригородными слободами. Речь все о том же прообразе «военно-народного управления».

О степени развитости русско-северокавказских связей Витсен дает основания судить по его личному опыту: «*Я видел черкесского посла в Москве. Он был одет в косматую войлочную одежду и овчину мехом наружу, с белой и черной блестящей, как шелк, красиво завитой шерстью, так что не уступит бархату; на голове такая же шапка без полей; люди его свиты, как и он сам, были стройны и красивы*» [1, 92].

По сообщению Витсена, в ближнем окружении царя Михаила Федоровича

были очень толковые советники кабардинского происхождения, которых любил и он, и весь народ. Они, собственно говоря, уже органично принадлежали к политической верхушке Московского государства. Об их уме и скромности автор отзывается в самых комплиментарных выражениях.

К концу XVII в. разноэтничный характер российской правящей элиты стал нормой. Жившие в Москве потомки первых выходцев из Северного Кавказа были уже русскими людьми, хотя помнили свои корни, обычаи, культуру. Некоторых из них Витсен видел в Голландии в составе Великого посольства. В результате появилась колоритная зарисовка, вошедшая в его сочинение: «*Черкесы много забавляются танцами и умеют очень красиво танцевать. В 1697 году, когда я был приглашен в Амстердаме к столу его величества Петра Алексеевича и удостоился царской чести по случаю большой победы его царского величества над турками и татарами около устья Дона, тогда я видел, как танцевали двое из этих людей почти полтора часа. Невозможно описать прыжки и быстрые изгибы тела, которые они делали...*» [1, 97]

Экскурсы Витсена в античную историю Кавказа могли представлять интерес для его современников. Сегодня историки предпочитают обратиться к оригинальным источникам, которыми пользовался Витсен, а не к их пересказу.

И, наконец, в тексте автора бросается в глаза характерное свойство настоящего ученого: отсутствие эмоциональных эпитетов и оценок, чем широко грешили и его предшественники и последующие европейские писатели.

\*\*\*

Чем больше в Европе узнавали о Северном Кавказе, тем труднее стано-

вилось авторам сообщать что-то новое в этнографическом плане. Но они все равно отдают предпочтение описанию именно этой стороны жизни. Сведения социально-политического характера по-прежнему скудны.

Это замечание справедливо в отношении книги знаменитого голландского путешественника и дипломата Яна Стрейса «Три путешествия» [4]. В конце 1660-х гг. он побывал в прикаспийских областях, останавливался в Терках, которые упоминаются как пограничное русское владение и торговый центр, где два раза в неделю бывают большие ярмарки. Происхождение продававшихся там товаров, судя по всему, мало кого интересовало. Во всяком случае, Стрейс заявляет, что в Терках сбывалась добыча, захваченная в набегах<sup>2</sup>. Только ли добыча или что-то еще — проверять историкам путем сличения данного факта с показаниями других источников.

Безусловно, достойны внимания приводимые Стрейсом военно-фортификационные подробности, свидетельствующие о том, что Терки олицетворяли собой отнюдь не символическое присутствие России в тех краях [4, 214-215].

Большая часть его впечатлений связана с бытом и нравами населения, живущего по соседству с Терками: к северу это — «ногайские татары», к югу — «дагестанские татары», к западу — «черкесские татары». В его этнографическом рассказе мы уже в который раз встречаемся с одними и теми же обычаями и обрядами. Отдельные отзывы о местных мужчинах крайне нелестны. Как и крайне сомнительны его утверждения о фривольности «дагестанских» женщин, носящих откровенные наряды и позволяющих чужеземцам целовать их и «вступать с ними в более близкие отношения» при полном безразличии находившихся рядом мужей [4, 216-217].

В Дагестане, по утверждению Стрейса, «много властелинов и князей». Самые почитаемые из них шамхалтарковский и уцмийкаракайтагский, которые избираются «диковинным» способом<sup>3</sup>.

Когда политические моменты невольно вторгаются в наблюдения голландца, это становится интересным для историка. В частности, он пишет, что «в мое время находившийся в городе (Терки — В. Д.) принц, князь Булат<sup>4</sup>, был в союзе с его царским величеством» [4, 215].

Тут, видимо, имелся в виду кабардинский вассал русского царя Касбулат Черкасский, под управлением которого находились территории к югу и к западу от Теркского городка. В другом месте Стрейс утверждает, что Булат с гневом отверг предложение Степана Разина присоединиться к восстанию за богатое вознаграждение, казнил его послов и их головы отправил персидскому шаху [4, 266]. Если такой факт имел место, то как его истолковать? Как свидетельство лояльности? Тогда почему оно предъявлено не русскому царю? Тут не все до конца ясно. Кстати говоря, дьяки, допрашивавшие пленного Разина, интересовались его связями с князьями Черкасскими — и теми, кто уже осел в Москве, и теми, кто служил на Северном Кавказе.

Особую колоритность запискам Стрейса придает авантюрный характер их автора. Ради этой колоритности отдельные факты и события либо искажены, либо излишне драматизированы.

\*\*\*

В европейских произведениях XVIII в. «черкесы» фигурируют чаще других этнонимов, потому что они были собирательным именем почти для всех народов Северного Кавказа. Кроме того, в распоряжении иностранцев стало появляться все больше русских

документов, зачастую тоже грешивших такой приблизительностью.

Названия очерка «Черкесы», с которого мы начинаем обзор источников XVIII в., говорит сам за себя. Его автор — видный молдавский и российский государственный деятель, сподвижник Петра I Дмитрий Кантемир (1673-1723 гг.), человек необыкновенных познаний и широты интересов. По способу анализа исторического материала он уже во многом принадлежал научному этапу в развитии мировой историографии. Да и один из главных его трудов вполне заслужил право называться «Историей возвышения и падения Оттоманской империи»<sup>5</sup> [5]. Однако в своем описании черкесов он лишь в отдельных моментах поднимается до этого уровня, оставаясь больше стихийным этнографом, чем профессиональным историком.

«Черкесию» Дмитрий Кантемир писал между 1714 и 1716 гг., когда жил в Турции, и, видимо, под впечатлением общения с высокопоставленными османскими чиновниками черкесского происхождения. Вероятно, поэтому очерк начинается с пафосного заявления: «это (черкесы. — В. Д.) самые благородные из скифских народов, проживающих в горах и холмистых местностях между Каспийским и Черным морями» [5, 78].

Далее идут более прозаические уточнения, касающиеся пятигорских черкесов, которые «не имеют ни Бога, ни богослужения, ни религии». Ссылаясь на мнение историков, Кантемир сообщает, что когда-то они были обращены в христианство генуэзцами, но после завоевания Крыма турками «вернулись к прежнему невежеству, презрев просвещение» [5, 78-79].

Констатируя то, что мы уже не раз слышали от других наблюдателей, Кан-

темир дает этим фактам совершенно наивное толкование: «они (черкесы. — В. Д.) не повинуются никакому закону и не имеют судей, убежденные, что **угрызения совести провинившегося есть полное и достойное наказание** (подчеркнуто мною. — В. Д.)» [5, 79].

Не вполне внятна информация о роли ислама в жизни черкесов: «Прежде они не имели никакой грамоты, но с тех недавних пор, как **они приняли ислам** (выделено мною. — В. Д.), они начали знакомиться с арабской литературой. Остальные придерживаются своего древнего язычества, сохраняя до наших дней свои первобытные манеры» [5, 78-79]. Принятие новой веры преподносится как единовременный акт, что противоречит историческим фактам, да и последующим словам Кантемира об «остальных», не отказавшихся от «древнего язычества», «первобытных манер» и традиций, происхождение которых «неизвестно даже им самим».

Читателю вновь приходится недоумевать, когда автора, только что применившего к черкесам эпитет «первобытный», бросает в другую крайность: «Если бы кто-либо, — пишет Кантемир, — назвал их прекраснейшим из всех восточных народов, он не слишком отклонился бы от истины». Черкесы, по его мнению, являлись для татар предметом пылкого подражания. Настолько пылкого, что «могут быть названы французами» по сравнению с ними. Черкесия для татар — «школа хороших манер». Тот, кто не прошел ее, считается «ничтожеством». В эту школу «на воспитание и обучение», в том числе военному делу, отдают своих детей крымские ханы. Благодаря такому обычаю между крымской и черкесской элитой завязывались тесные родственные связи [5, 79].

Кантемир был изумлен непревзойденной внешней красотой черкешенок,

сочетавшейся с «наивысшими духовными качествами», живым умом, способностью к просвещению, «умеренностью в потребностях», сноровкой в искусстве рукоделия. Он приписывал это врожденным задаткам и особой системе девичьего воспитания, которые уже априорно превращали черкешенок в украшение и привилегированную часть султанских гаремов [5, 82].

Однако эти обстоятельства несколько не исключали стремления крымского хана держать Черкесию в вассальной зависимости, часто перегибая палку в вопросах о количестве выплачиваемой дани, прежде всего рабами. Такой перегиб дорого обошелся Каплан-Гирею в 1708 г., когда он был наголову разбит кабардинцами. Рассказ об этом сражении передан Кантемиром в таких подробностях [5, 80-82], которых нет в других источниках, хотя поручиться, что эти подробности полностью достоверны, нельзя.

Кантемир ничего не говорит о социально-политическом строе Черкесии. Лишь в единственном предложении сообщается, что «вся область разделена на три княжества, главным из которых является Кабарда» [5, 79]. Что имелось в виду под двумя остальными, не известно. Непонятно также, почему при главенстве этого «княжества» автор хотя бы изредка не называет его жителей «кабардинцами».

\*\*\*

Заслуживающие внимания историко-политические сведения имеются в записках личного врача крымского хана француза Феррана, совершившего в 1709 г. путешествие по Черкесии. Но его утверждения требуют критического сопоставления с другими источниками. А они склоняют к мысли, что Ферран сильно преувеличивал степень зависи-

мости Черкесии от Крымского ханства. По его мнению, всеми ее областями, в которые он включает и Кабарду, управляют беи (наместники. — В. Д.), зависящие от хана и властвующие над «многими владельцами»; «они обязаны ежегодно платить хану дань, состоящую из 300 невольников, 200 молодых девушек и 100 юношей не старше 20 лет» [1, 111].

Черкесско-крымские связи были намного сложнее и трагичнее, чем они представлены в этом отрывке. Как известно, Черкесия являлась обширной территорией, населенной многочисленными племенами, различавшимися по социальной организации и демографическим размерам. Лишь незначительная часть этих племен управлялась так называемыми князьями<sup>6</sup>, да и то на определенных ограничительных условиях, напоминавших негласный общественный договор. Вассальное положение этих владетелей выражалось в ежегодной дани, которую они платили Бахчисараю через наместника крымского хана. В случае увеличения податной повинности князья поднимали бунты, заканчивавшиеся кровавыми столкновениями с ханскими войсками.

Подавляющую часть черкесского населения составляли «демократические племена», отличавшиеся от «аристократических» ярко выраженной патриархально-родовой архаикой, воинственным и независимым духом. От них крымцы и турки старались держаться подальше.

Ферран указывает, что крымские наместники охотно брали на себя третейскую роль в урегулировании бесконечных черкесских междоусобиц, за что получали немалую прибыль с двух сторон. Но он забывает добавить, что зачастую сам Бахчисарай и разжигал эти усобицы, извлекая из них еще и моральные дивиденды.

Ферран лично участвовал в эпизоде, свидетельствующем о том, что на межчеркесские распри накладывалось еще жестокое соперничество между представителями татарской политической элиты. Предметом соперничества была должность наместника в Черкесии, приносившая сказочные доходы благодаря работоторговле. Правила работоторговли были строги. Если хозяин не имел от ханской администрации специального документа на своего раба, то его могли объявить вором и самого превратить в товар.

На Северо-Западном Кавказе, согласно Феррану, было два порта — Тамань и Темрюк, где велась оживленная местная и международная торговля, в первую очередь рабами. Любопытно свидетельство о том, что в Темрюке жили греки, армяне и евреи, платившие крымскому хану налог, половина которого отправлялась турецкому султану. Аналогичное правило распространялось и на Тамань [1, 110]. Похоже, это были купеческие колонии.

Возможно, Ферран делает слишком широкое обобщение, но все же стоит привести его слова: *«народы черкесские весьма уважают христиан, считая себя потомками генуэзцев, которые некогда владели важнейшими частями здешней страны»* [1, 110-112]. Это кажется очень странным лишь на первый взгляд. На самом деле, по многим историческим примерам мы знаем, что при младенческом состоянии этнического самосознания люди готовы вести свое происхождение от кого угодно. Эта тема тогда безраздельно принадлежала области народных легенд и сказаний, противоречивших друг другу.

Что касается религиозных представлений самих черкесов, то автор не берет судить о них за отсутствием у них *«книг и жрецов»*, а также какого-либо

понимания христианских символов [1, 112].

Сопоставляя Феррана с предшествующими авторами, лишний раз отмечаем, что набеговый мотив звучит у него уже как дежурный рефрен, комментировать который мы, пожалуй, не будем. Оставим без комментариев и сомнительный тезис о неспособности черкесов к войне, полагая, что Ферран имел в виду войну как организованное действие.

В сведениях Феррана достоверные факты соседствуют с заведомыми умолчаниями. К примеру, он, прекрасно зная о крупном поражении хана Каплан-Гирея от кабардинцев в 1708 г., не обмолвился о нем ни словом. Вероятно, из соображений политкорректности, учитывая его служебное положение.

\*\*\*

Почти все без исключения европейские книги XIII-XVIII вв., снискавшие заслуженный авторитет среди этнографов и историков Кавказа, нуждаются в тщательном источниковедческом анализе в свете современных научных данных. Многие сведения, сообщаемые иностранцами, не выдерживают порой даже самой поверхностной критической проверки. Относится это и к немецкому путешественнику Энгельберту Кемпферу (1651-1716 гг.). Знаменитые европейские университеты дали Кемпферу высококлассное образование, подтвержденное дипломами доктора философии и медицины. В 1683 г. он в качестве секретаря шведского посла, направлявшегося в Персию, был в Астрахани и на северо-западном побережье Каспийского моря. Личные наблюдения и сведения, добытые из разных источников, Кемпфер заносил в путевой дневник, который обрабатывался, дополнялся, редактировался уже

в начале XVIII в. после его десятилетнего странствия по Востоку.

В 1723 г. посмертно был опубликован труд Кемпфера «Новейшие государства Казань, Астрахань, Грузия и многие другие, царю, султану и шаху платившие дань и подвластные». Не стоит придирааться к названию, которое мы, кстати говоря, даем в сокращении. Сегодня оно звучит нелепо. Но в те времена на обложках книг можно было увидеть еще и не такое. Претензии к автору в другом.

Однако начнем с того, что в его сочинении действительно имело важное познавательное значение. Оставляя в стороне замечания о размерах прикаспийской земляники и другие этюды о красотах местной природы, ее флоры и фауны, обратимся к более полезным для историка и этнографа сведениям.

Прежде всего, это описание крепости Терки, *«города, который все время находился под властью царей. 2000 футов в длину и 800 в ширину. Он раньше был окружен только высокими стенами и башнями, а теперь укреплен высоким валом и другими бастионами по современному образцу с цитаделью. В 1636 году один нидерландец возвел и укрепление, а в 1670 году шотландец Балей усовершенствовал их повсюду; место также хорошо укреплено многими маленькими и большими металлическими пушками. Там находится русский гарнизон в 2000 человек под начальством воеводы и полковника. В городе находятся три приказа или канцелярии под начальством канцеляриста и подканцеляриста»* [1, 115] <sup>7</sup>. При всей своей лаконичности это зарисовка не какого-нибудь захолустного острога, стоявшего на южном отшибе государства, а вполне полноценного города-крепости, выполнявшего военно-пограничные и административно-политические функции.

Кемпфер подтверждает это сообщением о том, что кабардинские князья, живущие в окрестностях Терков, *«большой частью повинуются московскому царю и должны получать от него лен (то есть право на владение территорией. — В. Д.)»*. А по важным судебным вопросам они обращаются к *«русскому воеводе»* [1, 115].

Военно-исторических сюжетов автор почти не касается. Разве что мельком. Причины и ход сражения 1708 г. между кабардинцами («черкесами») и войсками крымского хана Кемпфер удостоил короткого абзаца, не забыв, правда сказать, что Каплан-Гирей был разбит наголову и *«спасся только с большим трудом»* [1, 115].

Ни один иностранный путешественник не обходит вниманием повсеместный кавказский обычай совершать набеги. Кемпфер не исключение. Руководителей этих рейдов он называет «дворянами», не поясняя, кто имеется в виду. Незатейливое описание разбойного действия, явно заимствованное у Тавернье, дает основание предполагать нежелание автора углубляться в тему: *«Дворяне целый день ничего не делают; вечером они выезжают на место сбора, где их собирается 30-40 и более людей и договариваются, когда и где идти на добычу. Эти набеги производятся не только на соседние страны, но и в их собственной земле, так как они похищают все, что можно, и продают друг друга туркам, персам и прочим в качестве крепостных»* [1, 117].

В своей этнографической части труд Кемпфера в основном повторяет хорошо известные факты. Но зачастую он передает их в искаженном или совершенно сумбурном виде. И это создает разительный контраст с теми его наблюдениями, которые действительно представляют научную ценность.

Цельное впечатление от книги рушится из-за явных ошибок и противоречивых оценок, допускаемых автором. Не понятно, в частности, на чем основано его утверждение, что «почти весь («черкесский». — В. Д.) народ исповедует греческую веру», и как можно ее исповедовать, если людям, не достигшим 40-60-летнего возраста, запрещалось посещать церкви. Кроме того, эта «благочестивость» никак не согласуется с тем фактом, что черкесская «молодежь проводит время, главным образом, в грабежах и разбоях» [1, 116].

Только излишней доверчивостью Кемпфера к некоторым источникам информации можно объяснить его слова о том, что у кабардинцев («черкесов») и татар общий язык. Труднее понять, с чего это автор взял, будто «большая часть» кабардинцев «говорит также по-русски». Конечно, благодаря постоянному общению с жителями Терков и куначеским связям население Северо-Восточного Кавказа приобретало определенные разговорные навыки, но заявление Кемпфера о «большой части» — сильное преувеличение. К нелепостям необъяснимого происхождения следует отнести отождествление черкесов с турками.

Автор бывает непоследователен в своих оценках. Сначала он делает черкесам комплименты по поводу их красоты, общительности, приветливости, веселого нрава, трудолюбия. Однако тут же, переходя к абхазам, подчеркивает, что «они не такие дикари, как черкесы, но, конечно, хорошо смыслят в грабежах и воровстве» [1, 118].

Современный читатель совершенно сбивается с толку, когда узнает от Кемпфера, что к черкесам относятся также аланы, сваны и карачаевцы. Характеристика последних наглядно выявляет степень вульгаризации, до ко-

торой доходит автор. Приводим цитату целиком: «Народ не дурной. Прежде они исповедовали христианство, которое можно заметить из некоторых их теперешних обрядов. В настоящее время у них нет никакой религии; они питаются только воровством, ходят почти нагие, не знают никакого искусства, ни науки. Ростом они выше других народов, имеют грубый и наглый голос; их сердце и душа еще более грубые и дикие. Ибо они описываются как самые смелые и наглые в мире разбойники с большой дороги и убийцы. Это родина гуннов, которые так позорно опустошили и разорили Италию и Францию, чем полны все исторические книги» [1, 118].

Не желая быть заведомо субъективными в отношении сочинения Кемпфера и отдавая должное тому, что он сделал, предоставим все же читателям и историкам судить о подлинной ценности его вклада в науку.

\*\*\*

Людьми эпохи Просвещения овладела особая страсть к большому, универсальному Знанию. Они хотели знать все обо всем. О далеких странах, их природе, богатствах, облике и нравах тамошних народов. Спрос на записки путешественников был огромен, предложение — скромнее. На помощь приходили те, кто почти не покидал пределов своей страны, своего города, отдавая свое время работе за письменным столом. Они собирали тексты авторов из разных времен, подвергали их литературной обработке, сводили в единое целое и предлагали просвещенной публике. Многие из таких домоседов были лишь более или менее аккуратными компиляторами. Однако простой компилятор заканчивался на той грани, за которой начиналось более сложное действие, чем суммирование кем-то до-

бытых сведений. А именно: *изучение* материала путем сопоставления и критического анализа фактов.

Так постепенно рождались если и не научные труды в точном смысле слова, то, по крайней мере, тексты, закладывавшие фундамент для классических исторических и этнографических исследований XIX–XX вв. Может показаться очень странным утверждение о том, что эти «кабинетные» тексты подчас обладали большей ценностью, чем положенные в их основу источники, в частности непосредственные наблюдения путешественников. Неоспоримое преимущество науки в том-то, однако, и заключается, что она способна проникать гораздо глубже *видимого* — в *сущее*. Для XVIII в. это, возможно, было парадоксом. Сегодня это — банальность.

Анонимный (похоже, французский) автор, о котором речь пойдет ниже, судя по всему, никогда на Северном Кавказе не бывал. Но в своем небольшом сочинении «Нравы и обычаи кабардинцев, или черкесов» ему удалось создать выразительный образ края, который, при всем несовершенстве гуманитарной науки того времени, местами достоин весьма высокой оценки этнографов и историков XXI в. Краткость очерка восполняется наличием сведений, которых нет у других авторов. Но работа по чужому «полевому материалу» и попытки дать ему собственную трактовку, конечно, имеют и свои недостатки, о чем будет сказано ниже.

Аноним (назовем его так) рассматривал пространство от Каспийского до Черного моря как «*театр внезапных решительных общественных перемен*», имея в виду мощные миграционные волны и нашествия, много раз перекрашивавшие этническую картину Кавказа. Произошло смешение народов, но не до такой степени, чтобы они потеряли

свою языковую и культурную самобытность. Разнообразие местных этносов пополнилось колониями «*греков и генуэзцев, моравских братьев и персов*», нашедших там убежище «*от произвола и насилия*». Эта невероятная мозаика сделала край «*подобием Вавилонского столпотворения, где царит чрезвычайное смешение языков, а также гражданских и религиозных обычаев, разных по происхождению народов, едва понимающих друг друга и в то же время живущих рядом друг с другом*» [5, 82].

Обычно у путешественников нет времени на глубокие размышления. Они захвачены своими впечатлениями и спешат занести их в дневник по горячим следам, без всякой обработки. Да и по возвращении домой такая обработка зачастую не прибавляет к тексту ничего ценного. Более того, вносит в него нарочито субъективную и эмоциональную тональность (как это особенно ярко показывают мемуары английских путешественников XVI в.).

Анониму торопиться было некуда. Он исследовал собранные другими факты и наблюдения, сличал, обдумывал, наталкивался на нестыковки, пытался найти им объяснение и т.д. С результатами этой работы не всегда можно согласиться, но в общем они видны. Аноним впервые четко говорит о том, что под широко известным в Европе именем «*черкесы*» нужно иметь в виду еще и «*кабардинцев*». Считая их одним племенем, он употребляет два этих этнонима как взаимозаменяемые понятия. Опять же впервые автор указывает, что были «*две Кабарды*», правда, без пояснения — какие (восточная и западная, как известно) и как выглядели границы одной и другой. Впрочем, требовать такой детализации применительно к Северному Кавказу начала XVIII в. просто бессмысленно. Мало того, что он был

одной громадной этнической чересполосицей. Сама ее конфигурация непрерывно менялась благодаря миграционным процессам среди оседлых народов, не говоря уже о кочевых.

Общественный строй, культуру и обычаи кабардинцев Аноним описывает порой подробнее и красочнее иных путешественников, вставляя в свой рассказ краткие философские суждения. Социальных отношений он касается в самых общих чертах: у простых кабардинцев есть «господа или покровители», к которым они «мало привязаны» и свободно переходят от одного к другому. Платят подать в натуральной форме в размере десятой части доходов, чем «господин» не всегда доволен, требуя большего (четверти). Автор, кажется, одобрительно оценивает тот факт, что это «единственный налог», уплачиваемый «подданными». Тут в нем явно говорит европеец, живущий в условиях куда более развитой и обременительной налоговой системы.

По-европейски судит он и о правосудии кабардинцев, считая его «произвольным», из-за того, что они терпеть не могут долгих расследований. Обращаясь к этой теме, Аноним не отказывает себе в праве на «цивилизованное» назидание: «чрезвычайная быстрота в проведении судебного процесса всегда более губительна, чем чрезвычайная медлительность» [5, 83].

По мнению автора, кабардинцы имеют «менее беспокойный характер, чем окружающие их соседи, и более склонны к мирной жизни». Однако кабардинец «редко выходит из дома без оружия». Сабля, кинжал, кольчуга, лук, алебарда, ружье всегда при нем. Нетрудно догадаться, что тогда означает «меньшая склонность к мирной жизни».

Без особых эмоций Аноним констатирует явление, не оставленное внима-

нием ни одним иностранцем: «Похищение скота и молодых девушек наиболее распространено в этих странах; неумелость в этом деле влечет за собой бесчестие. Похититель в случае успеха приобретает великую славу, но он всегда должен быть готов подвергнуться возмездию» [5, 84].

После нескольких замечаний о жилищах, хозяйственных занятиях и ремеслах кабардинцев автор подробно останавливается на особенностях работорговли, не забывая подчеркнуть «естественную красоту и грацию» кабардинских (черкесских) женщин, их «умеренный нрав и утонченность», принесшие им «заслуженную славу». Их покупают по «разорительным ценам», ибо восточные гаремы «не могут обойтись без них». Об этих «играх обмена» (термин Фернана Броделя) Аноним рассказывает не без изящества и для удобства европейских читателей прибегает к понятным им экономическим категориям. Работорговческий рынок он сравнивает с «биржей» и «настоящим банком», где вращаются огромные деньги и где царит такой же азарт, как и в финансовых учреждениях Европы.

Главными продавцами «юных черкешенок» (и кабардинок) выступают их родители, чья любовь «не может устоять против названной суммы» (7000 турецких пиастров или 17000 франков за одну белокурую красавицу). После жесткого торга дочери «переходят из рук родителей в руки армян, которые перепродают их в серали» [5, 83]. Сейчас бы это назвали крупномасштабным международным бизнесом, где никто не остается внакладе.

На этом же рынке молодые кабардинцы могли купить и жен для обзаведения семьей. Даже если «для своих» существовали более низкие расценки (почему бы не допустить такое умозри-

тельное предположение), то все равно это были деньги, которые зарабатывались долго и нелегко. Поэтому, сообщает автор, в тех краях считалось справедливым, когда муж, уже годы спустя, возмещал продажей детей сумму, некогда уплаченную за жену. Аноним добавляет, что абсолютную естественность этого явления в глазах общества подтверждают умудренные жизнью кабардинские старцы (автор именует их «философами»).

Не исключено, что жены покупались и таким способом. Но, скорее всего, Аноним путает торг о помолвке, в ходе которого определяется размер калыма и соблюдается соответствующий ритуал, с торгом на рынке, где осуществляется купля-продажа в чистом виде без всякой нужды облекать эту сугубо коммерческую операцию в форму какого-то патриархального обычая.

Как справедливо замечает автор, есть выход и для бедного кабардинца, который лишен средств для женитьбы: на коня и в набег. Если он удал и везуч, вернется с готовой женой, да еще с «приданным» в виде того, что удастся прихватить помимо главной добычи.

Автор, как видно из его текста, не удовлетворяется простыми заимствованиями из наблюдений путешественников, а пытается дать по-своему осмысленную картину кавказских реалий. Иногда это оборачивается совершенно невнятным умозаключением. Вот, пожалуй, самое «загадочное»: «как видим, — пишет он, — это не патриархальные нравы, которые некогда процветали в прекрасных странах Азии. Деспотизм все развратил» [5, 84]. Если то, о чем живописует Аноним, «не патриархальные нравы», как в таком случае назвать их иначе? Что это за «деспотизм», который «все развратил» и о котором на протяжении всего текста нет и намека? Откуда

он вдруг появляется посреди повествования об обществе с глубоко традиционным укладом жизни?

Когда автор опускается с «философских» высот, вопросов к нему меньше. Но они остаются. Утверждается, в частности, что по жилищу и одежде можно легко отличить знатных людей от простых. В данном случае явная нехватка источников информации восполняется вроде бы безупречной логикой, оказавшейся ловушкой для автора, ибо такая логика безупречна для Европы, а не для Кабарды того времени. На самом же деле, согласно хрестоматийным свидетельствам XVIII в., иные кабардинские князья были одеты так же, как и их холопы, если не хуже. Их покосившиеся хижинки и заросшие сорняком усадьбы производили удручающее впечатление. А все потому, что любой не ратный труд оскорблял княжеское достоинство. Здесь не место вдаваться в эту чрезвычайно интересную этнологическую тему. Достаточно сказать, что Аноним этого точно не делал.

Неизвестно также, откуда он черпал вдохновение для представления европейскому читателю обобщающего внешнего образа кабардинца (черкеса), нижнее белье и верхняя одежда которого — сплошные шелка, тонкие сукна, дорогие кушаки, сафьяновые сапоги, богато отделанные головные уборы, длиннополые шубы (зимой). Мало кто из путешественников, даже для развлечения европейской публики, позволял себе подобные фантазии применительно к обычному кабардинцу.

Религию кабардинцев автор определяет как «смесь язычества, ислама и христианства», указывая на существование жрецов-отшельников, пользующихся большим почтением в обществе и живущих в безбрачии. Авторское утверждение о том, что жрец

«не показывается никому», оставляет читателя лишь строить догадки относительно его способов «окормления паствы».

Политическую ситуацию на Северном Кавказе Аноним почти не затрагивает. Мимоходом говорится, что в XVI в. русский царь подчинил кабардинцев «своему скипетру под предлогом обращения в христианство» (?!), но «через некоторое время» власть над ними захватил крымский хан и «наложил на них дань», сбором которой занимался специальный «посланник». В 1708 г. он злоупотребил своими полномочиями, настолько, что возмутил народ и был убит. В ответ хан послал войска, «но кабардинцы добились покровительства Оттоманской Порты, оставаясь независимыми от нее» [5, 85].

В сравнении с тем, что известно о событиях 1708 г., эти цитаты не представляли бы никакой ценности, если бы не одна деталь. Указание на переход Кабарды в сферу влияния Турции позволяет определить промежуток времени, когда было создано это анонимное произведение — между 1708 и 1739 годом. Первую дату приводит сам автор. А вторая устанавливается логическим путем: Белградский договор провозглашал Кабарду нейтральной территорией. Стало быть, после 1739 г. говорить о зависимости кабардинцев от Порты не приходилось. Да и до этого зависимости как таковой не существовало, о чем, кстати, упоминает и Аноним («оставаясь независимыми от нее»).

\*\*\*

Если за критерий оценки брать внимание к этнографическим деталям, особенностям человеческого поведения, способность схватывать некоторые непонятные для европейца вещи и увлекательную стилистику преподне-

сения материала, то одним из лучших сочинений о Черкесии XVIII в. следовало бы считать труд французского путешественника и дипломата Обри де ла Мотрэ (1674-1743 гг.). Он был на Северном Кавказе в 1711 г., совершив путешествие из Тамани в Астрахань и обратно.

Системы в описательном тексте Мотрэ нет. Это калейдоскопически сменяющиеся зарисовки ногайского и черкесского быта. Среди особенностей этой сферы жизни, пожалуй, самое сильное впечатление на Мотрэ, как и на его предшественников, произвел обычай гостеприимства, порой ввергавший в полное смущение (когда молодые девушки разували гостя и омывали его ноги, чтобы снять усталость). А порой вызывавшие столь же сильное недоумение. Эпизоду, покоробившему его однажды, похоже, не придал значения никто, кроме него. Дело происходило в доме у татарского мирзы. В честь Мотрэ хозяин накрыл стол, ломившийся от изысканно приготовленных мясных и прочих блюд. Было человек десять. Незадолго до окончания трапезы некоторые из присутствующих поднялись и ушли, даже не поблагодарив. Мирза понятия не имел и даже не спросил, кто они. Он исходил из простого правила, принятого в тех краях: если кто-то пришел в твой дом не грабить, то его нужно принять как гостя и прежде всего накормить.

До момента появления Мотрэ на Северном Кавказе накопилось уже столько литературы о нравах и обычаях местных народов, что казалось, будто и писать уже нечего. Но когда читаешь труд нашего автора, осознаешь, что этнография — это бесконечная сфера для изучения, где всегда остаются не замеченные вещи, детали, нюансы. Одному они просто случайно не попались

на глаза. Другой посчитал их слишком тривиальными. Третий вообще не дал себе труд вникнуть в их смысл.

Мотрэ же был исключительно любознателен ко всему, что оказывалось в поле его зрения. Мы, естественно, не можем требовать от него глубокой расшифровки духовных подтекстов обрядов, ритуалов, суеверий и т.д. До этого тогдашней «этнографической науке» было еще далеко. Но такие, как Мотрэ, своими трудами приближали ту эпоху, когда ученые станут видеть на существенном уровне то, что прежде не вызывало глубокого интереса в виду своей кажущейся элементарности.

Хотя, казалось бы, нет смысла вновь приводить наблюдения, сделанные задолго до Мотрэ, мы все же сочли нужным вернуться к некоторым общественным явлениям, описанным другими очевидцами, потому что наш автор расширяет ракурс взгляда на эти явления, внося в него контрастные элементы.

Возьмем, к примеру, общее место всех повествований о Северном Кавказе. Он представляется пространством перманентной войны всех со всеми. Войны разных масштабов и разных форм: мелкие усобицы, зачастую принимающие широкий размах; малые и большие набеги, порой вполне сопоставимые с дальними военными походами не только за материальной добычей; банальное разбойничество на дорогах; кровное мстительство; жестокая расплата за словесное оскорбление и т.д. Доминирующую роль культа силы отрицать невозможно. Мотрэ даже и не предпринимает такой попытки. Более того, он, приводя конкретные факты, как бы облачает вооруженный промысел, точнее разбой, в форму вековой жизненной философии. Из разговора с сыном знатного татарина Мотрэ усвоил, что

тот вовсе не надеется на отцовское наследство: *«все, что у него было, он добыл своей саблей и стрелами во время набегов»* [1, 121], так же действовали другие его братья, и по этим же стопам пойдут его подрастающие сыновья.

По свидетельству Мотрэ, вокруг ногайских станов всегда бдит стража, потому что они живут в постоянном ожидании *«ответных репрессий»* черкесов, у которых они угнали *«целые селения, т.е. молодых девушек, женщин, мальчиков и девочек, чтобы продать их вместе с другими, подходящими для перевозки вещами»*. За это приходилось расплачиваться собственным добром в виде табунов скота, похищаемых черкесами в отместку (ногайских женщин, похоже, почти не трогали, ибо они, в отличие от черкешенок, не пользовались большим спросом на невольничьих рынках).

Одним словом, набеги противопоставлялись набегам [1, 124, 127]. Такие же отношения существовали между ногайцами и азовскими казаками, и считались совершенно нормальными.

Мотрэ проникательно подмечает, что этот образ жизни они готовы отстаивать даже перед лицом своего покровителя — Османской империи, не веря, что *«какой-нибудь мирный договор»* между Портой и Россией *«мог бы отнять у них право войны (против московитов или черкесов), которое они считают полученным от неба ради их существования»* [1, 128].

Уж кто только из путешественников не описывал набеговый промысел, но Мотрэ был одним из первых, если не первый, кто дал этому феномену почти социологическое объяснение. Дело, впрочем, даже не в его неожиданном подходе. Вопросы, которые вольно или невольно ставит перед нами Мотрэ, в другом. Какую часть повседневности занимали подобные явления? Был ли

Северный Кавказ сплошным пространством войны и вражды, или там все же имелись, так сказать, оазисы мира, покоя, благополучия? Были ли набеги, грабежи, кровавые стычки исторически перманентным состоянием или они носили некий циклический характер, то ослабевая, то усиливаясь?

Читатель поймет обоснованность этих вопросов, если обратит внимание на одно любопытное обстоятельство. Мотрэ проехал огромное расстояние от Тамани до Астрахани и обратно, потратив на это почти месяц (с 5 по 31 декабря 1711 г.). Причем он выбирал не безлюдные дороги, а останавливался в ногайских, черкесских, кабардинских, северодагестанских селениях. И за это время на территории, где, как принято считать, грабительские набеги были обыденностью, с ним не произошло ни малейшего инцидента. Наивно ведь предполагать, чтобы Мотрэ мог так долго находиться под таинственным покровительством какой-то счастливой звезды. А откуда, кстати говоря, на страницы сочинений путешественников попадали буколические картины купающихся в тихих заводях обнаженных, никого не смущающихся и ничего не опасующихся черкешенок? Откуда берутся поэтические этюды о безмятежных кавказских пейзажах, спокойной и величественной природе, ухоженных полях, садах, домашних хозяйствах? Может ли все это существовать в условиях беспрестанных войн?

Еще одну загадку представляет собой огромное поселение Кальбата<sup>8</sup>, которую Мотрэ называет «столицей равнинной Черкесии» [1, 146]. Там в мирном соседстве жили черкесы, ногайцы, калмыки, евреи, греки, армяне и представители других этносов. Что это случайный островок в море хаоса, грабежей, раздоров?

А почему не Мотрэ, а нас, людей XXI в., удивляет тот факт, что черкесы, грузины и мингрелы без всякой опаски образовывали маленькие колонии по всей ногайской территории?

Не будем вдаваться в замысловатые гипотезы, но возьмем на себя смелость утверждать, что и сегодня эти вопросы остаются не менее острыми, чем в XVIII в., и еще долго, очень долго будут требовать скрупулезных усилий исследователей, максимально возможного раскрытия безграничного потенциала источников, освоения новых научно-гуманитарных технологий.

В принципе этнографические сведения у Мотрэ совпадают с наблюдениями его предшественников, но зачастую отличаются любопытными деталями и способом их подачи.

Автор условно делит население Северного Кавказа на три религиозные группы: «те, которые живут ближе к москвитам, придерживаются греческой религии; соседи татар и персов магометане, а те, которые живут посередине страны, язычники, или, чтобы быть более точным, они все таковы, так как первые только смешивают некоторые черты московитской или магометанской веры со своими языческими обрядами, причем у них отмечается очень мало заимствованных обрядов и почти полное отсутствие веры» [1, 130; ср.: 142].

Ученая жилка у Мотрэ дает о себе знать чаще, чем у других, что проявляется, в том числе, в поиске этнографических аналогий. Очень красочно повествуя о том, как горные черкесы поклоняются деревьям, он находит сходство с друидами. И те, и другие обращались к этим обожествляемым предметам с сугубо мирскими просьбами, ибо чужды были более высоких устремлений к бессмертию души, которые воспитываются великими религиями.

В конце концов, Мотрэ признается, что нет ничего более сложного, чем конфессиональная картина Северного Кавказа, представляющая собой пеструю, экзотическую смесь язычества, христианства и магометанства. В разных местах (горы, равнина) и у разных племен религиозно-обрядовые элементы имеют неповторимые локальные особенности, отличаясь собственным типом синкретизма.

Мотрэ не обделил своим вниманием удивительное сочетание природного ума северокавказских этносов с их детским восприятием незнакомых вещей, которое он именовал «*невежественностью*», повторяя это слово без всяких колебаний, ибо не видел никакого смысла искать более «политкорректные» определения. Мотрэ рассказывал, какие неудобства приходилось ему испытывать всякий раз, когда он доставал из кармана часы, чтобы узнать время. К нему сразу сбегался народ и с какой-то суеверной опаской и одновременно завороченностью рассматривал тикающую диковинку в полной уверенности, что внутри сидят домовые и производят странные звуки, передвигая колесики и стрелки. Попытки объяснить, что это всего лишь механизм, созданный руками человека, прерывались вопросом: а на каком языке говорит эта штуковина? А каково было Мотрэ, когда один ногаец поинтересовался, есть ли в его стране луна и солнце! [1, 139-140].

Однако эти поразительные для европейца эпизоды дают бесценный этнографический материал для исследования сознания этносов на определенной стадии их развития.

Мотрэ предоставляет историку весьма интересные сведения о Таманском полуострове и Тамани, «*небольшом, но очень населенном городе*», который он

называет «*колонией армян, грузин, мингрелов и черкесов*» [1, 125], составляющих большую часть его жителей. Процветающая там международная торговля и пестрый демографический состав позволяют предположить, что Тамань в какой-то мере сохранила античные традиции коммерческой колонизации. То же можно сказать в отношении близлежащей крепости Темрюк, хотя ее роль была значительно скромнее.

Мотрэ не забывает напомнить, что и Тамань и Темрюк находятся под властью турок: там есть крепостные рвы, пушки, небольшие гарнизоны, местная администрация, таможня, сборщики налогов [1, 125-127].

У Мотрэ можно найти массу любопытных подробностей об особенностях быта, нравов, обычаев северокавказских этносов. В частности, черкесская и ногайская кухни вызвали у путешественника столько восторга, что его дотошное описание способов приготовления удивительно вкусной еды порой напоминает поваренную книгу [1, 131-132].

Колоритны заметки о женской красоте, которая считалась универсальным товаром и самой надежной валютой. Мотрэ с налетом юмора говорит о том, сколько раз ему приходилось отбиваться от весьма навязчивых предложений прикупить по случаю нескольких юных красавиц.

Правда, автор ничего не сообщает о женственности и красоте всадниц, которых он встречал по пути. Они держались в седле так же уверенно, как мужчины. За плечами лук и колчан со стрелами, на руке — хищная птица. Это были женщины-охотницы, способные на полном галопе поразить дичь одним метким выстрелом. После этих встреч Мотрэ, по его признанию, был готов поверить в «*истинную или ложную историю амазонок*» [1, 136].

Исключительный научный и практический интерес вызвала у Мотрэ широко применявшаяся в Черкесии практика защиты от оспы с помощью прививок, то есть искусственного заражения. От этого заболевания Европа ежегодно теряла до полумиллиона человек. Количество обезображенных никто не считал.

Среди нескольких тысяч людей, которых встречал Мотрэ во время путешествия, не было ни одного с оспенными шрамами. Ему охотно объяснили, как осуществляется прививка, и даже дали возможность присутствовать при такой операции и наблюдать ее последствия [1, 142-144]. Было от чего оторопеть. Ведь в Европе научатся бороться с оспой лишь через сто лет. Однако Мотрэ повествует об увиденном в достаточно бесстрастном тоне. В отличие от своего современника и соотечественника Клода Гельвеция, писавшего: *«Как много мы обязаны легкомысленной черкешенке, которая, желая сохранить свою красоту или красоту своих дочерей, первая решила привить себе оспу! Скольких детей оспопрививание вырвало из когтей смерти! Может быть, нет ни одной основательницы монашеского ордена, которая оказала бы миру столь же великое благодеяние и тем самым заслужила бы его благодарности»* [6, 254].

В отношении к этому сюжету Гельвеций безусловно был честнее, чем Мотрэ, в котором комплекс цивилизационного превосходства оказался все же сильнее чувства справедливости и готовности пересилить в себе европейца, чтобы отдать должное «диким» народам. Внутренне он не смог примириться с тем, что люди, спрашивавшие его, на каком языке «говорят часы», умудрились решить фундаментальную медицинскую проблему, тогда как в Европе еще даже

не знали, как к ней подступиться.

Реконструировать политическую историю Северного Кавказа по материалам Мотрэ бесполезно. За исключением одного фрагмента — уже известной нам победы кабардинцев (у Мотрэ «черкесов») над крымским ханом Каплан-Гиреем в 1708 г. Общий ход событий передан довольно подробно и более или менее точно, хотя есть разночтения с другими описаниями того, что предшествовало и сопутствовало этой победе. С тех пор, по словам автора, Кабарда и Крымское ханство находились в состоянии войны. Причину войны Мотрэ склонен видеть в алчной и топорной политике Бахчисарая, поддержанной турецким султаном, который, получая одностороннюю информацию, не потрудился вникнуть в суть кабардино-крымского конфликта на стадии его зарождения [1, 124-125].

Историку остается лишь сожалеть о том, что Мотрэ мало интересовался историческими сюжетами, которые могли бы сделать его сочинение совершенно беспрецедентным явлением в кавказской историографии. Тем более если учесть многосторонние дарования автора. Но и в том виде, в котором дошли до нас его путевые заметки, они заслужили право считаться первоклассным источником по исторической этнографии и культурологии Кавказа.

\*\*\*

Небезынтересны записки Петра Бруса (1694-1751 гг.), шотландца, нанятого царем на службу в Россию. В качестве участника Персидской экспедиции (1722 г.) Брус побывал в Северном Дагестане, который он называет «черкесской Татарией». Небольшой походный этюд иностранного наемника не станет для нашего читателя особым открытием. Внешний вид местных жите-

лей, особенности женского поведения с незнакомцами, схваченные поверхностным взглядом и в отдельных случаях истолкованные с необоснованной претенциозностью знатока «туземной» психологии. В описании женской одежды самое примечательное, быть может, это внимание автора к ее фривольным деталям.

Вот и все, пожалуй, что можно было бы сказать о любознательности Бруса, если бы не его сведения о Терском городке. Полустраничный очерк сообщает о Терках больше, чем иные не слишком внятные рассказы об этом военно-политическом феномене. «*Терки — пишет он, — столица черкесской Татарии, являющейся наиболее южной границей теперешних владений Его Величества (Петра I. — В. Д.); этот город сильно укреплен, ... и имеет гарнизон в 2000 регулярных войск и 1000 казаков*». ... Он около трех верст в окружности, прочно укреплен валами и бастионами в современном духе» [1, 148].

Брус, оценивая эту крепость прежде всего как человек военный, сумел понять и ее особое политическое значение. Терки представлены как центр имперского административного управления южными областями, перешедшими «под власть России». Подмечая своеобразие этой системы, автор пишет, что правосудие, осуществляемое «именем императора», основано на применении как российских законов, так и норм обычного права [1, 148-149].

Дополняя наблюдения других иностранцев, Брус лишней раз подтверждает тот факт, что политика России на Кавказе, несмотря на отдельные грубые промахи (конца XVI — начала XVII в.), строилась не на классических принципах западноевропейского коло-

ниализма, а на стратегии приспособления к местным реалиям.

Прямых формулировок подобного типа у Бруса нет. Он прилежно фиксирует то, что видит. Но мысль вдумчивого читателя невольно идет дальше этих простых зарисовок.

Это касается и местной социально-культурной жизни. Брус бесстрастно перечисляет признаки патриархально-родового языческого общества. У каждого аула свои боги, свои обычаи, свои ритуалы: «*ни священников, ни алькорана, ни мечетей*». Изучать обряды у Бруса не было времени. Судя по всему, он наблюдал лишь один из них — обряд жертвоприношения, который и занес в свой дневник. Финал действия представлен в неприглядном свете: «*мужчины заканчивают церемонию, выпивая огромное количество водки, что обычно заканчивается ссорой перед окончательным расставанием*» [1, 149-150].

Повторим еще раз: никаких выводов, в том числе из данного эпизода, автор не делает. Не будем и мы навязывать свое мнение. Но почему бы не поставить себя на место образованного европейца конца XVIII-XIX в., читающего очерк Бруса (опубликован на английском языке в 1783 г.). Что бросится ему в глаза в первую очередь? Вполне цивилизованный (по понятиям первой четверти XVIII в.) русский город-крепость, окруженный пестрым, раздробленным, своевольным патриархально-языческим миром. И можно ли поручиться, что этот контраст не вызовет у гипотетического читателя вполне естественное для евроцентричного мировоззрения умозаключение об обреченности России на выполнение своей имперско-цивилизаторской миссии.

## Примечания:

1. Труды Олеария и Тавернье стали основой для ряда последующих иностранных компиляций на тему о Кавказе.

2. Тема разбойных набегов звучит постоянно, создавая впечатление, что ими занимаются все, у кого есть соответствующая экипировка. Дагестанских горцев Стрейс называет «большими людокрадами, большими, чем все остальные» [4, 215, 218, 220, 246, 275]. Особое внимание уделяется сопутствующему набегам явлению — «торговле рабами и краденым», благодаря которым «Шемаха и Дербент процветают, развиваются и притягивают к себе множество различных купцов» [4, 275].

3. «Выборщики», среди которых находятся претенденты на титул «короля», собираются в круг. Стоящий в центре его «священник» берет «золотое яблоко» (?) и метко бросает в того, кого считает самым достойным. Вот и все выборы [4, 221]. Этот же обычай описан Адамом Олеарием.

4. Ян Стрейс называет Булата (Касбулата) «князем черкесских татар» [4, 266].

5. Очерк «Черкесы» входит в состав этого выдающегося труда, написанного на латыни в 1716 г. Через три года Петр I распорядился перевести его на русский, но по какой-то причине это не было сделано. Впервые он был опубликован в 1734-1735 гг. в Лондоне на английском языке (*The History of the Growth and Decay of the Othman Empire. Part I-II. L. 1734-1735*), позже на французском и немецком, а 1979 г. — на турецком. Мы пользовались переводом с французского В. Аталикова, помещенного в издании: Кавказ. Европейские дневники XIII-XVIII веков/Сост. В. Аталиков. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2010.

6. Отсюда название этих племен: «княжеские» или «аристократические».

7. Часть этих сведений, скорее всего, заимствована у Яна Стрейса, побывавшего в тех местах за 15 лет до Кемпфера, и у Адама Олеария.

8. Современные ученые, на основании косвенных расчетов, полагают, что Кальбата — это либо Армавир, либо какой-то исчезнувший город неподалеку.

---

1. Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв./Составление, редакция переводов, введение и вступительные статьи к текстам В. К. Гарданова. Нальчик, 1974. 635 с.

2. *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию/Пер. с нем. А. М. Ловягина. Смоленск, 2003. (Перепечатка издания: Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введение, перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина. СПб., 1906).

3. *Tavernier Jean-Baptiste.* Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier; esuyer Baron d' Aubonne, qu'il a fait en Turquie, en Perse, et aux Indes... Paris, 1676, livre troisième. Pp. 329-348.

4. *Ян Стрейс.* Три путешествия. М., 1935.

5. Кавказ. Европейские дневники XIII-XVIII веков/Сост. В. Аталиков. Нальчик, 2010.

6. *Гельвеций К. А.* Сочинения в двух томах. М., 1975. Т. 1.